

Александр Грин

Приключения Гинча

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Александр Грин

Приключения Гинча / Александр Грин – М.: Книга по Требованию, 2011. – 54 с.

ISBN 978-5-4241-3280-3

Александр Грин создал в своих произведениях свой особенный мир. В этом мире веет ветер дальних странствий, его населяют добрые, смелые, веселые люди. А в залитых солнцем гаванях с романтическими названиями – Лисс, Зурбаган, Гель-Гью – прекрасные девушки поджидают своих женихов. В этот мир – чуть приподнятый над нашим, одновременно фантастический и реальный, мы и приглашаем читателей.

ISBN 978-5-4241-3280-3

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Александр Степанович Грин
Приключения Гинча

*Он сажает это чудовище за стол, и
оно произносит молитву голосом раз-
носчика рыбы, кричащего на улице.
Вальтер Скотт*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я должен оговориться. У меня не было никакой охоты заводить новые, случайные знакомства, после того, как один из подобранных мною на улице санюлотов¹ сделался беллетристом, открыл мне свои благодарные объятия, а затем сообщил по секрету некоторым нашим общим знакомым, что я убил английского капитана (не помню, с какого корабля) и украл у него чемодан с рукописями. Никто не мог бы поверить этому. Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги.

Грустные размышления, преследовавшие меня после этой истории, рассеялись в один из весенних дней, когда, впитывая всем своим существом уличную пыль, бледное солнце и робкий шепот газетчиков, петербуржец как бы случайно посещает ломбард, обменивает у великодушных людей зимнее пальто на пропитанный нафталином демисезон и устремляется в гущу весенней уличной сутолоки. Прodelав все это, я открыл двери старого, подозрительного кафе и уселся за столиком. Посетителей почти не было: насколько помню теперь, я не принял в счет багрового старика и пышной прически его дамы, считая их примелькавшимися аксессуарами. Против меня сидел скверно одетый молодой человек, с лицом, взятым напрокат из модных журналов. Я так и остался бы на его счет очень низкого мнения, не подними он в эту минуту свои глаза: взгляд их выражал серьезное, большое страдание. Пустой стакан из-под кофе некоторое время чрезвычайно развлекал его. Он вертел этот стакан из стороны в сторону, наклонял, побрякивал им о блюдечко, рассматривал дно и всячески развлекался. Затем, к моему великому изумлению, человек этот принялся царапать ногтями стеклянную доску столика.

Подумав, я быстро сообразил, в чем дело. Рекламы в этом кафе заделывались между нижней, деревянной частью стола и верхней доской из толстого стекла, имея вид небрежно брошенных разноцветных листков. Молодой человек находился в состоянии глубокой рассеянности. Его усилие взять один из листков сквозь стекло ясно доказывали это. Человек, рассеянный до такой степени в публичном месте, обращает на себя внимание.

Я обратил на него это внимание, следя, как белые, чисто содержимые пальцы, скользили и срывались; старые мысли о рассеянности посетили меня. Я говорил себе, что все истинно рассеянные люди имеют приличное внутреннее содержание, наконец, мне захотелось поговорить с этим молодым человеком. Будучи общительным по природе, я скоро находил тему для разговора.

Мне оставалось лишь подойти к нему, но в этот момент окровавленный призрак английского капитана занял один из столиков, грозя мне пальцем, униженным индийскими брильянтами. Я немного смутился, однако наличность прозрачной, как хрусталь, совести дала мне силу презреть угрожающее видение и даже снисходительно улыбнуться. Некоторое время пытались еще задержать меня несчастный старик, путешествовавший из Галича в Кострому, и начальник сибирской каторжной тюрьмы; я с силой оттолкнул их, прошел твердыми шага-

ми нужное расстояние и сказал:

– Принято почему-то делать большие глаза, когда в общественном месте неизвестный человек подходит к вам, предлагая знакомство. Я знаю, мы живем в стране, где медведи добродушны, а люди алы и опасны, но все же бывают исключения. Такое исключение составляю я.

Он прищурился – движение, непредвиденное мной.

– Я пишу, – сказал я. – Моя фамилия – ...н, а ваша?

– Лебедев. – Он привстал, недолго подержал мою руку и сел снова. – Присаживайтесь. Мне тоже скучно, как скучно всем в этой прекрасной стране.

Я сел, и тотчас же разговор наш принял определенное направление. Лебедев рассказывал о себе. Это было его больное место. Он говорил тихим, слегка удивленным голосом, поминутно закуривая гаснущую папиросу. У него был пристальный, задумчивый взгляд, манера лизать языком нижнюю часть усов и перекаладывать ноги.

Я умею слушать. Это особое искусство состоит в кивании головой и напряженно-сочувственном выражении лица. Полезно также время от времени открывать и тотчас же закрывать рот, как будто вы хотите перебить рассказчика тысячью вопросов, но умолкаете, подавленные громадным интересом рассказа.

То, что он рассказывал, было действительно интересно; он сгущал краски, не забывая об этом; великолепные, отчетливые границы внешнего и внутреннего миров змеились в пестром узоре его рассказа с непринужденной легкостью и искренностью, намечая коренной смысл пережитых им событий (кость для собаки – тоже событие) в самом недвусмысленном освещении.

Три темы постоянно привлекают человеческое воображение, сливаясь в одной туманной перспективе, глубина ее блестит светом, полным неопределенной печали: «Смерть, жизнь и любовь». Лебедев, один из многих взвихренных потоком чужих жизней, самообольщенных и бессильных людей, рассказывал мне, что произошло с ним в течение двух последних недель. Слишком молодой, чтобы трагически смотреть на любовь, слишком стремительный, чтобы хныкать о будущем смертном исчезновении, он был всецело поглощен жизнью. Жизнь избила его – и он почесывался.

Мы выпили четыре стакана кофе, два – чаю, шесть бутылок фруктовой воды и выкурили множество папирос. В тот момент, когда я, несколько утомленный чужими переживаниями, попросил его записать эту странную историю, а он с тайным удовольствием в душе и деланной гримасой улыбающегося лица выслушал мои технические указания, – неожиданно заиграло электрическое пианино. Развязные, беззастенчивые звуки говорили о линючей, дешевой любви профессионалок.

Кафе наполнялось публикой, и мне в первое мгновение показалось, что страусы, одетые в ротонды и юбки, пришли справиться о ценах на свои перья.

Нижеизложенное принадлежит перу Лебедева, а не английского капитана.

I

В конце лета я поселился на городской черте, у огородника. Комната была очень плоха, несколько поколений жильцов придали ей тот род живописной ободранности, о которой пишут романисты богемы. Одно окно, чистая дырявая занавеска, слегка мебели и разноцветные лоскутья обоев. По вечерам усталое солнце слепило глаза стеклянной чешуей парниковых рам, темно-зеленые, пышные лопухи тянулись у изгороди, заросшей шиповником. Десятинная фасоль, подымала невдалеке стену вьющихся сквозных спиралей, увенчанных лесом тычин; душистый горошек, мальва, азалии, анемоны и маргаритки теснились вблизи дома в прогнивших от земли ящиках и на клумбах. У окна чернели старые липы.

Утром, в пятницу, пришел Марвин. Я не был ничем занят, шагал из угла в угол и хмурился. Я любил маленькую Евгению, дочь содержателя городских бань, а она дразнила меня; последнее письмо ее привело меня в состояние подавленной ярости. Марвин не застал ярости, она перегорела, выродившись в дрянной шлак, – среднее между горечью и надеждой.

– Федя, я очень тороплюсь... – Марвин, не снимая фуражки, сдвинул ее на затылок. Плотное, нервное лицо его показалось мне слегка обрюзглым, в руках он держал что-то завернутое в бумагу. – Окажи услугу, Федя.

– Хорошо, – сказал я, – особенно, если эта услуга веселого рода.

– Нет, не веселого. Но ты будешь беспокоиться только одни сутки. Завтра я верну тебя в первобытное состояние.

Суевлиивый, повышенный тон Марвина заставил меня насторожиться. Я не сказал бы ни «да», ни «нет», но он взял мою руку и сжал ее так сильно, что мне передалось его возбуждение: по натуре я любопытен.

– Ради бога, – продолжал он тем же странным, взволнованным голосом. – Да? Скажи «да», не спрашивая в чем дело.

– Да. – Я согласился, а через полчаса ругал себя за это. – Говори.

Марвин прошел мимо меня к столу и опустил на него сверток, бережно двигая руками. Я никогда не видел, чтобы человеческая рука так искусно, почти без звука разворачивала листы газетной бумаги. Две тусклые, небольшие жестянки, блеснувшие в руках Марвина, привели меня в легкое изумление, затем невидимый холодный палец пощекотал мне затылок; я силился улыбнуться.

– Милый, – сказал Марвин, – на одну ночь... спрячь это...

Он посмотрел на меня и осторожно положил бомбы в бумажный ворох. Я ждал. Помню, что в этот момент я чувствовал себя тоже взрывчатым, обязанным двигаться медленно и легко.

– Говорят, что ночью у меня будет обыск. – Марвин почесал лоб. – И это... как его... А ты человек чистый. Ты, разумеется, удивлен... Прости. Но я имел бы право, конечно, не говорить тебе об этом всю жизнь.

– Алексей, – сказал я, очнувшись от непривычного оцепенения. – Ты знаешь, что я держу данное слово, поэтому в течение суток будь спокоен и ты. Но если завтра к вечеру они останутся еще здесь, я истреблю их в лесу.

– Я возьму их.

Он сел. Прозрачный круговорот света, наполняя комнату, жег его вспотевшее

лицо солнечной пылью; утро, с далекой зеленью полей, было прекрасно и невыразимо тревожно. Я открыл чемодан и спрятал среди белья тяжеловесные жестянки. Марвин вздохнул.

Этого человека я знал еще с первого курса сельскохозяйственного училища. Мы были с ним в очень хороших отношениях, но я не подозревал в нем разрушительных склонностей. Я начал вопросом:

– Каким образом, Марвин?

Он хмыкнул, ущипнул переносицу и ничего не ответил. Может быть, чувствуя себя передо мной в новом положении, он тяготился этим. Я снова спросил:

– Откуда у тебя это?

– Мне нужно идти. – Марвин поднялся, вздохнул и опять сел. – Все это просто, милый, проще органической клеточки. Я не собираюсь никого убивать. Ты меня хорошо знаешь. Я только делаю. До употребления здесь еще очень далеко. Впрочем...

– Что?

– Я пользуюсь ими по-своему. Если хочешь, я объясню. Но с условием – не смеяться и верить каждому моему слову.

– Я позволю себе посмеяться сейчас над второй половиной этого условия. Но я буду внимателен, как к самому себе.

– Прекрасно. Видишь ли, я рано соскучился. Моя скука имеет, если хочешь, историческое оправдание. Мой дед бил моего отца, отец бил мать, мать била меня, я вырос на колотушках и порке, среди ржавых ломберных² столов, пьяных гостей, пеленок и гречневой каши. Это фантазмагория, от которой знобит. Еще в детстве меня тошнило. Я вырос, а жить лучше не стало. Пресно. Люди на одно лицо. Иногда покажется, что пережил красивый момент, но, как поглядишь пристальнее, и это окажется просто расфранченными буднями. И вот, не будучи в силах дождаться праздника, я изобрел себе маленькое развлечение – близость к взрывчатым веществам. С тех пор, как эти холодные жестянки начали согреваться в моих руках, я возродился. Я думаю, что жить очень приятно и, наоборот, очень скверно быть раздробленным на куски; поэтому я осторожен. Осторожность доставляет мне громадное наслаждение не курить, ходить в войлочных туфлях, все время чувствовать свои руки и пальцы, пока работаешь, – какая прелесть. Живу, пока осторожен, – это делает очаровательными всякие пустяки; улыбку женщины на улице, клочок неба.

Я покачал головой. Все это мне мало нравилось. Марвин поднялся.

– Мне надо идти. – Он вопросительно улыбнулся, пожал мою руку и открыл дверь. – Мы еще потолкуем, не правда ли?

– Когда ты освободишь чемодан, – насильно рассмеялся я. – Жду завтра.

– Завтра.

Он ушел. Мне было его немного жалко. Размышляя о странном признании, я подумал, что человек, угрожающий самоубийством бросившей его любовнице, с целью вынудить фальшивое «отстань, люблю», очень бы походил на Марвина. Чемодан пристально смотрел на меня, у его медных гвоздиков и засаленной кожи появился скверный взгляд подстерегающего врага. Я тщательно рассмотрел этот свой старый, знакомый чемодан; он был чужим, зловещим и неизвестным.

Заперев, как всегда, комнату небольшим висячим замком, я, в очень плохом настроении, считая всех встречных незнакомых людей тайными полицейскими

агентами, поплелся обедать. Революционером я никогда не был, мои мысли о будущем человечестве представляли мешанину из летающих кораблей, космополитизма и всеобщего разоружения. Тем более я сердился на Марвина. Зарыл бы в землю свои снаряды, и делу конец.

Эта мысль показалась мне открытием. Я хотел уже идти к Марвину и сообщить ему об этом простом, как все гениальные вещи, плане, но вспомнил, что Марвин ждет обыска. Сумрачный, я пообедал в компании старушки с мальчиком, отставного военного и приказчика; прыщеватые служанки столовой пахли кухонным салом; граммофон рвал воздух хвастливым маршем из «Кармен»; кофе был горек, как цикорий. Домой мне не хотелось идти – и я умышленно растягивал свой обед, читая местную газету. Но все кончается, я заплатил и вышел на улицу.

День, приняв с самого утра кошмарный оттенок, продолжался нелепым образом. Я долго бродил по улицам, до одурения сидел в скверах, шатался по пристаням, в облаках мучной пыли, среди рогожных кулей и грузчиков, разноцветных от грязи; к вечеру мной овладело тоскливое предчувствие неприятности. Мучая ноги, я мечтал о таинственном прохладном уголке, где можно было бы теперь лечь, вытянуться и не тревожиться. Одно время был даже такой момент, что я пошупал в боковом кармане тужурки свое портмоне с тремя золотыми и медью и решил провести ночь в Луна-парке, но устыдился собственного малодушия.

Подходя к дому, я замедлил шаги. Прохожие казались все подозрительнее, некоторые смотрели на меня с тайным злорадством, взгляды их говорили: «Брать бомбы на сохранение считается государственным преступлением». Отогнав призраки, я, тем не менее, стал полусерьезно соображать, как поступить в случае обыска. Быть хладнокровно дерзким, улучшить минуту и выбросить их в окно? Не годится. Или не теряя времени на позировку, выбросить в окно себя? Повесят меня или дадут лет десять каторги?

Поблекшее солнце опускалось за отдаленной рощей, на рдеющих облаках чернели стволы лип. Сеть глухих переулков с высохшими серыми заборами оканчивалась буграми старых, заросших крапивой ям; когда-то здесь было кладбище. Дальше, за ямами, зеленели ставни белого одноэтажного дома, в котором жил я. Духота гаснущего дня делалась нестерпимой, голова болела от усталости, ноги ныли, на зубах скрипела мелкая, сухая пыль. В это время я успокоился, и недавнее тревожное состояние казалось мне результатом прошлого возбуждения. Я шел с намерением пить чай и перелистывать прошлогодний журнал.

Городовой, которого я увидел не далее двадцати шагов от себя, сначала наградил меня ощущением, сродным зубной боли, затем я почувствовал прилив решимости, основанный на презрении к мнительности, но тут же остановился. Секунду спустя громкое сердцебиение сделало меня тяжелым, как бы связанным, с парализованной мыслью. Городовой стоял за решеткой палисада; сквозь редкие кустики акации ясно был виден его красноречивый мундир, белеющие усики и загорелая деревенская физиономия. Он стоял ко мне боком, наблюдая что-то в направлении парников. Я повернулся к нему спиной и пошел назад. Рябина, усеянная воробьями, отчаянно щебетала, звуки, похожие на: «вот он!», неудержимо лились из маленьких птичьих глоток. Я шел медленно: в этот момент вся

тяжесть сознания, что скорее идти нельзя и что до ближайшего забора – целая вечность, оглушила меня до потери способности почувствовать несомненный перелом жизни. Я думал только, что в это время огородник обыкновенно возит-ся с рамами, и городской подозрительно рассматривал его действия, не видя меня.

С пересошей от волнения глоткой, желая только забора, я вступил, наконец, в переулок и побежал, но остановился через несколько времени. Бежать было глупо. Дьячок в соломенной шляпе благочестиво осмотрел мою наружность и, кажется, обернулся. Возвратившаяся способность мыслить бросила меня в безнадежный вихрь отрывочных фраз – это были именно фразы, достигавшие сознания с некоторым опозданием, благодаря чему мысли, рождаемые ими, отталикивались, как люди, протискивающиеся одновременно в узкую дверь. «Марвин арестован и выдал меня. Бежать. Марвин не арестован, а его проследили. Бежать. Его не проследили, а нас обоих кто-нибудь выдал. Огороднику за комнату семь рублей. Все к черту. Милая, дорогая Женя. Вешает палач с маской на лице. Бежать».

Ускоряя шаги, я пришел к заключению, что сегодня же должен покинуть город. Денег, за исключением 30 рублей, у меня не было. Нелепость случившегося приводила меня в бешенство: ни белья, ни пальто, ни паспорта. Страх тянул в ломбард, напоминая о золотых часах, подарке деда, умершего год назад, любовь толкала к городским баням, рядом с которыми жила Женя. Я нуждался в сочувствии, в утешении. Очнувшись на извозчике от нестерпимой паники, я подъехал к дорожному для меня каменному, пузатому дому с блестящими от заката окнами верхнего этажа, скользнул мимо швейцара и судорожно позвонил.

– Барышни нету дома, – сказала унылая горничная в ответ на мой поспешный вопрос, – а братец и папаша чай кушают, дома они. Пожалуйста.

Слабый от горя, пошатываясь на ослабевших ногах, я был близок к слезам. Головка Жени с немного бледным цветом лица, волнистой прической и дружескими глазами болезненно ожила в моем воображении. Я сказал, мотая головой, так как воротничок душил меня:

– Ничего, ничего. Я, скажите, напишу, я уезжаю, у меня заболела тетка.

Теток у меня не было. Волнующий, безнадежный запах знакомой лестницы преследовал мою душу до дверей ломбарда. Смеркалось; строгие линии фонарей наполнили перспективу улицы светлыми, матовыми шарами; кой-где из пожарных труб дворники поливали нагретый асфальт; дамы, шелестя юбками, несли покупки, хлопали двери пивных; все было точно таким, как вчера, но я из этой точности был вычеркнут на неопределенный срок, оставлен «в уме».

Ломбард в нашем городе оканчивал операции к восьми часам; придя, я нашел двери запертыми. Именно в этот, казалось бы, плачевный момент я понял, как легко прижатый к стене человек сбрасывает свою привычную шкуру. Доведись мне еще вчера умирать с голода, я отошел бы от запертых ломбардных дверей с мыслью, что они откроются завтра, – и только; теперь же я знал твердо, что часы нужно продать, и не колебался; напротив, как будто всю жизнь занимаясь этим, хладнокровно открыл дверь ювелирного магазина и подошел к прилавку. Но здесь мужество оставило меня, и в ответ на механический вопрос любезного человека, сделанного из воротника, брелоков и прически ежиком, я тихо, как вор, произнес:

– Не купите ли золотые часы?

За конторкой поднялось истощенное лицо подмастерья; он молча посмотрел на меня и погрузился в свою работу. Любезный человек с обидной небрежностью взял мою драгоценность, – здесь я почувствовал, что он презирает меня, часы и все на свете, кроме своих брелоков. Он щурился, хлопал крышками, разглядывал в лупу, не переставая презирать меня, что-то в механизме, наконец, поднял брови и сказал, упираясь сгибами пальцев в стекло витрины:

– Сколько просите?

Назначив мысленно двести, я вслух произнес «сто», но не удивился, когда сто, путем таинственной психологической игры между мной и этим человеком, с помощью взаимно тихих слов превратились в семьдесят.

Получив деньги, я скомкал их в руке и вышел, вспотев. Поезд отходил ровно в одиннадцать.

До одиннадцати я провел время в состоянии огромного напряжения, измучившего меня, наконец, так сильно, что вокзальное помещение второго класса, где усевшись на всякий случай спиной ко входу, я без надобности тянул пиво, стало казаться мне вечным отныне местом моего пребывания. Стоголосый шум, искусственные пальмы, преискуранты, лакеи и резкое позвякивание жандармских шпор – весь этот мир грохочущей задержки в неопределенном стремлении массы людей тягостно подчеркивал важность обрушившегося на меня несчастья. Я чувствовал себя чем-то вроде части машины, перековываемой в новые формы для службы машине совсем иной конструкции. Я не мог видеть Женю, ходить в университет, засыпать в комнате, полной запаха свежей земли и зелени, – я должен был мчаться.

В Петербурге были у меня знакомые, два-три человека, знающие нашу семью; кроме того, большой город, как я узнал из романов, – лучшее место для темных личностей. Я был темной личностью, нуждался в укрывательстве, фальшивом паспорте. Войдя в вагон после первого же звонка, я рассчитывал, что поезд, если только он не прирос к рельсам, тронется ровно через сто лет. Против меня сидел человек в старом пальто и синих очках; я старался не смотреть на него. Звонки, свисток – перрон поплыл мимо окна, залезающее в вагоны лицо жандарма ударило меня взглядом; наконец, деловой стук колес прозвучал около семафора, – и я ожил.

Через пять минут человек в синих очках, важно порывшись в карманах, заявил кондуктору, что потерял билет. Он не был шпионом. Он был заяц – и его посадили на первой станции.

II

Когда после однообразных дач, березовых перелесков и зеленых полей в окна стали видны вылезшие за городскую черту железнодорожные депо, сараи, ряды товарных вагонов и почерневшие фабричные трубы, я выскочил на площадку.

Поезд замедлил ход. Пасмурное небо пропустило в узкую голубую щель солнечный ливень, в лицо било веселым паровозным дымом, влажным воздухом; зеленые тени лужаек сверкали мокрой травой. Зданий становилось все больше, гудок локомотива долго стонал и смолк. Я застегнул пальто, выпрямился; смутный мгновенный страх перед неизвестным показал мне свое хмурое лицо, бросился прочь и замешался в толпу.

Под железной крышей вокзала меня увлекло стремительное движение публики; я прошел в какие-то двери и с сильно бьющимся сердцем увидел площадь, неуклюжий конный памятник, водоворот извозчиков. Петербург!

Немного пьяный от невиданного размаха улиц, я шел по Невскому. Под витринами колыхалось белое полотно маркиз, груды деревянных шестиугольников, звонки трамваев, равнодушная суета пестрой толпы – все было свежо, ново и привлекательно. Выяснившееся утро обещало жаркий, хороший день. Нельзя сказать, чтобы я очень торопился разыскать необходимых знакомых; прогулка погрузила меня в хаос внутренних безотчетных улыбок, торопливых грез, отчетливых до болезненности представлений о будущем. У громадного зеркального окна, за блестящими которого громоздились манекены с черными усиками на розовых лицах, одетые в штатские и форменные костюмы, я выбрал себе костюм синего шевиота, белый в полоску пиджак и, неизвестно для чего, тирольку³ с галунами. Все это пришлось бросить так же, как турецкие наргиле,⁴ гаванские сигары, а далее – изящная фаянсовая посуда с лиловыми и голубыми цветочками, масса цветного стекла – все это было так же прекрасно и нужно мне, человеку с выговором на «о».

Да, я переходил от витрины к витрине и нисколько не стыжусь этого. Мечты мои были безобидны и для кармана необременительны. Я забыл свое положение, я жадничал, я хотел жить, – жить красиво, полно и славно; через три квартала я обладал мраморным особняком, набитым электрическими люстрами, резиновыми шинами, цветами, картинами, персиками, фотографическими аппаратами и сдобными кренделями. У Аничкова моста, полюбовавшись на лошадей, я сел на извозчика и, не торгуясь, сказал:

– 14 линия, 42-й.

Я ехал. На меня смотрело небо, адмиралтейский шпиг, каналы и женщины. Стук копыт был невыразимо приятен – мягкий, отчетливый, петербургский, и я представлял себя гибкой стальной пружиной, не сламывающейся нигде; Марвин, нелепая, счастливо избегнутая опасность, хмурый провинциальный город, тоска бесцветных полей – это было два дня назад; между этим и извозчиком, на котором я ехал теперь, легла пропасть.

Я радовался перемене, как мог. Неизвестное засасывало меня. Но понемногу, отточенная глухой, внутренней работой, с десятками пытливых вопросов – куда? как? где? что? зачем? – в душу легла тень, и строгий контур ее провел резкую границу света и сумрака.